

Важа Пшавела (1861–1915), настоящее имя — Лука Разикашвили — известный грузинский поэт, классик грузинской литературы.

В 1879 г. поступил в учительскую семинарию города Гори, где сблизился с кружком грузинских народников. В 1883 г. уехал в Петербург, чтобы получить высшее образование, однако у него, как у окончившего семинарию, не было права на зачисление в университет. Поэтому поэт стал вольнослушателем юридического факультета, но в 1884 г. из-за материальных затруднений был вынужден вернуться на родину. В течение последующих лет жизни обычным занятием для него стало земледелие, охота, нередко приходилось пасти овец в горах.

Первые литературные опыты будущего классика состоялись в 1881 г.

Георгий Шервашидзе (1979 г.) — грузинский прозаик. По специальности — социолог.

Первый рассказ в литературной периодике опубликован в 2000 г.

С 2002 г. изданы четыре книги: роман и три сборника рассказов. В настоящее время работает над еще одним сборником, в который войдут как новые рассказы, так и лучшие из ранее опубликованных. Неоднократно был номинирован на литературные премии. Является дипломантом и лауреатом нескольких литературных конкурсов, в частности, литературного конкурса «Мерани» (2014, 2015 гг.).

В а ш а П ш а в е л а

У С Н У В Ш Е Е Л Е Т О

I

Лето почивало.

Боже!

Каким счастливым и чудесным было оно в обличье солнечных лучей. С каким великолепием украшено и расписано на всем просторе. Бесчисленным разнообразием цветов, тысячами могучих деревьев, — от могучего древнего дуба до кустарника роз, оглашенного соловьиными трелями; бессчетным скоплением пернатых, — от гордеца орла до зяблика и короля; табунами оленей, газелей и коз, резвившихся на склонах, стелилось оно по земле; и где-то там горели дерзостью тигриные глаза, и там же где-то медвежья пролазничала ненасытность.

Назовешь ли животное, выдумаешь ли насекомое, не испившее молока летней земли?!

Лето безмятежно почивало.

Протяженные пашни, необозримые нивы покрывали земную грудь, захлестывая ее волнами нивяными, среди которых косцы трудились хлопотливо заточенным серпом. На ней же виноградники большие и поменьше, усеянные гроздьями, прогибались и надламывались под тяжестью плодов. Наседающие горные исполины, увенчанные льдом и снегом на вершинах, внизу переходили в раздольные луга с высокой и густой травой, кормившей разбродистые стада коров и овец. Вдали виднелись обрамленные зеленью берега озер и рек. Лес любовался листовным убором. И все между собой переплеталось в приязни обоюдной: со стеблем — стебель травный, цветок — с цветком, и крона — с кроной, и даже насекомое — с иным из насекомых, а гриб так крепко прижимался к трухлявому бревну, как к матери — дитя.

Безмерно радовали взгляд всеобщая нарядность, пышность, красота и оживленность, смелость, горделивость каждого.

А лето почивало.

II

Лето почивало и видело страшный сон.

Грудь сдавливали стоны, лицо избородили слезы, и в небе вспыхивали молнии, и громыхали навалившиеся друг на друга тучи. И ужасом охваченное сердце, истрепетавши, замирало. Жутко становилось летней земле. Ей мнилось, что все ее исконное богатство и достояние попиралось, пленительность разорвалась, и надвигался произвол опустошения.

Нахлынули бурные речные потоки, — затопили равнины, размыли луга и нежную купину полевых цветов умяли в глине и грязи. Горы рушились, деревья ломались, озера выветривались. На склонах и долах в несметном количестве лежали трупы зверей и птиц, а уцелевшие животные, что карабкались по косогорам, от голода еле держались. В сыпучий щебень превращалась твердь. И небо ненастно озиралось.

Снег. Холод. Рокот камнепада.

«О, Боже! — лепечет лето. — Когда же я умру?!» Глаза ослепли, грудь онемела, мятущееся сердце обессилело... «Спасите!» — попыталось вымолвить, но зов погас, дыханье захлебнулось. И сон прервался.

Глаза раскрылись.

Лето пробудилось.

И что увидело? Загадочную, высланную снежной скатертью округу, и горы убеленные, овражки снегом занесенные, и лес диковинный, и рощи с рошицами дивные. И даже розовый кустарник — любезный друг, — взгляд изумлял, хотя не то чтобы бутона, но листика не сохранил.

Нет, смерти не было. Все было живо: звери и птицы — питомцы лета.

Увидало оленей, не признало сразу, бродили понурые, тощие, без привычного красноватого меха. Всмотрелось в высоты, приметило туров, но и они поменяли окраску. Прислушалось... нигде сладкопегового

соловья не услышало, безмолвствовал он. Птицы стыли и хохлились. Никаких насекомых, ни единой мошки. Все в тишине серебрилось.

«О-о-х!» — вздохнуло тоскливо лето и приникло к земле, заснуло смягченно. Бескрайнее белоснежное покрывало окутало сон, утихомирило. И снилось, что природа все так же цветет и рдеет; что все живое благоденствует и наживается теплом, и сердце ликовало.

Под этим хрустким покрывалом, выщербленном шажками птичьими, выкрапленном вдоль и поперек следами дикого зверя, беспробуждено и упоенно почивало лето.

Г е о р г и й Ш е р в а ш и д з е

У П Р Я М Е Ц

ПРИТЧА

Жил один человек, не в меру упрямый. К сказанному никогда не прислушивался, от советов даже не отмахивался, настолько ничего его не тревожило. Вразумлять его, что горох в стену лепить, было бесполезно. Точно пустыня, поглощал он слова увещаний — ведь не убедишь, не усмиришь хищника Евангелием?! Черный цвет, и тот был для него то белым, то снова черным. Под конец столько дров наломал, что со всеми испортил отношения, — с самим собой разругался. Отвернулись от него родные и близкие, соседи и знакомые, даже прохожие — и те не кивали ему в знак приветствия. Остался один. Впрочем, не тужил по этому поводу, так как и с одиночеством не поладил, и тогда на Создателя возроптал. В чем это проявилось? В простом: Творец ему душу дал, а он с ней вражду затеял.

Поначалу, пока ребенком рос, все шло хорошо. Родителя своего слушался и указаниям его подчинялся. И, сидя на стуле ровно, к столу — близко, в суп опуская ложку, с вилок в левой руке, и чай без шума размешивая, все исполнял, как родитель скажет. А потом то ли пресытился, то ли еще что стряслось, но оскотинился так, что стал гаже животного. Шибанул по столу — теперь, мол, по-моему будет! Этикет отбросил и принялся вовсю лопать ногой. Остолбенели родители и крайне огорчились из-за такого «баловства». Речи с ним завели было вежливые, поклоны отвесили, но не прошел номер. «Очень надо», — пробормотал он с набитым ртом и надгрыз ноготь на ноге. Тогда опечаленные родные взяли да ушли, кто в одну, кто в иную сторону. Тут он, без наставников своих, вроде притих — ни к чему было перед одним собой бесноваться. Ногами, однако, работал так же бойко, но не ломал хлеба и не играл в карты, а просто брыкался.

Скоро совсем все запуталось — собственное его существование разладилось, — какое-то одурение нашло на него, и сник он. Злополучия своего не признавал и выхода из него не искал. Бога предал забвению и думать ни о чем не пытался. Сначала день не думал, потом — второй, так один за другим потекли месяцы. Но по прошествии года наведалься к парикмахеру и, побрившись, одарил его немалым количеством волос и денег. Цирюльник на радостях, оставь, говорит, заодно и все твое злополучие здесь же. С большим удовольствием, отвечает тот и немедля вычеркивает из памяти всяческие невзгоды свои, ибо не устраивало его, что за ними скрывается воля Всевышнего. А ведь ничего неизлечимого не было в его недуге. Просто неуступчивостью с отрочества мучился и, не вынеся неразберихи, двигаясь не вперед, а назад, устал. Устал так сильно, что даже постель обратилась в заклятого врага. Безграничное упрямство заперло его в четырех стенах, без доброго слова ближнего, который бы молвил: погляди-ка, голубчик, какой дивный сегодня день.

И вправду, погода стояла превосходная, и всякий хвалитель Божий на дверях дома крепил красный крест, утверждая тем самым: «С нами Бог». Вот и он, словно делающий первые шаги и нуждающийся в поводыре, решил пойти по стопам их и, дабы отметить свое второе рождение, изобразил мареной красильной крест на пороге, дескать, и в этом доме отныне Господь пребывает. Впрочем, нестойкая краска марены держалась недолго и под семидневным дождем, легко поддаваясь влаге, быстро сошла.

Снова распрясался упрямец, и, где сказывалось два слова, он два своих вставлял, да только грубых и наперекор. Считал, в сопротивлении таком выражает себя много лучше. На окрик «Шею себе свернешь!» удваивал упрямство. Творцом дарованные разум и волю разменивал на мелочи, но и их проживал без проку. В срамословии проматывал то, что другой по словечку копил и затем завещал детям. Не зная устали, молол он бескостным языком так, что растер бы зерно в своих разинутых челюстях. Немалые обиды причинил людям, иным — втрое больше, дальним — сполна, а близким — без счета, и радость орошалась горькими слезами там, где он появлялся, и на то, в чем погрешности не было, находила проруха. Так, теряя всех тех, кто с юности был ему ровня, ожесточался все пуще. И никто уж не звал это жестокое упрямство «детскими проказами». Не стало

иллюзий. Отпали товарищи, как осенние листья, и оголилось древо его жизни.

Позднее сожалел об этом, но опосредованно, ибо одну свою половину вином разбавлял, а другой просыхал у горевшей свечи, правда, хоть и прилежен был, продолжалось это недолго. Беспочвенный страх мысль его сделал бессвязной. Запугался рассветов, еще больше — ночных сновидений. Шорохи чудились, и безумствие терзало сознание. Собственного духа колебание принимал он за чужое сердцебиение. Под конец невоготу ему стало настолько, так тесно и угнетающе, что если бы не Божья милость, полез бы в петлю, и отчаяние взяло бы верх над упрямством.

Но вот пригрезилась наяву ему женщина или, быть может, въяве привиделась, а встретилась в грезе. В любом случае, стали друг другу наперсниками, а наяву ли, во сне ли, кому какое дело? Очертив себя кругом, венчались и над дверью входной, в каменной кладке на крупном булыжнике высекли крест. Нынче, мол, нам никто не указ и бояться нам нечего. Однако упрямство упряма всего лишь дремало, как и жены его бдительность. Да и каким бы усыпляющим и опьяняющим ни было марево, оно рано или поздно развеется. Тяжким оказалось пробуждение: не для него, для нее, конечно. «Эхма, что двойню носить, что женой ему быть, — все одно», — говаривала соседкам растерянная домохозяйка. Но ведь женой она и так была, а близнецов вскорости родила — тогда и сорвалась — в третий раз, — словно с цепи, непокорность строптивца. Младенцы ревели, жена им носы подтирала, а его взыгравшая блудливость бесстыдно глазела на женщин. А дальше, их — ее и детей — отпихнув, с добродетелью повздорил, и всю ту благодать Божью, что еще как-то держалась в семье спустил, — разменял на шмаровы юбки. Жена захворала, молоко у нее высохло, у детей проявилась падучая, и ноги у них скрючило. И разве их вина, что то у одного рот был в пене, то у другого, то одному удерживали язык, то другому? Но кто вообще взыскивает с виновных?! А ведь, по справедливости, если чей и был черед западения языка, то он должен был выпасть их отцу. Жена день ото дня чахла, орбиты глаз ее все больше заволакивало чернотой. Наконец, истлевшую, забежавший домой упрямец не смог узнать и выставил на улицу, приняв ее за покрывшееся копотью стекло керосиновой лампы. Выставил и напрочь забыл. А дети, когда их спрашивали, где мать, отвечали: не знаем, что это такое.

Прошло время, и непокорному созданию приспичило что-то изменить, дабы особо стравить себя с окружающим миром. Жену занес в дом, протер ее влажной тряпкой и, попросив соседа присматривать за ней и раз в три дня поить водой, с близнецами поехал к морю купаться. А там, посадив их в бумажный кораблик, отправил детей лечиться за границу. Сам вернулся обратно, но, увы, живой жену не застал – несчастная женщина просто испарилась.

Даже на похоронах не знали наверняка, человек это или солнечный луч лежит на месте усопшей. Теперь-то упрямец струхнул. Принялся щеки себе царапать и причитать, мол, это я жену погубил, я во всем виноват. По правде сказать, никто в этом не сомневался. Хуже того, злые языки добавляли, что именно он уронил бедную женщину-склянку, когда вытирал ее тряпкой, и поленился даже склеить осколки, сгребя их под ковер. И кабы не благопристойность, то, наверное, никто бы и пальцем не шелохнул, чтобы поднять его с могилы жены. Своенравец же скорбел безутешно и продолжал упираться: и меня-де вместе с ней погребите! Но нарочно не дали ему настоять на своем, хотя у многих чесались руки и на него присыпать по горсти земли и примолвить: лучше б тебе не родиться!

Дошло, наконец, до упрянца, что разгневал он Создателя. Овладело им жгучее раскаяние, опалило его и обуглило, словно брошенную в печь хлебную корку, немного притупив охоту упрямествовать. Однако ж хватило бессовестности детей своих искать вместо этого — на том краю моря. Но и дальние пути не приблизили его ни к смирению, ни к собственным отпрыскам. И все же не оставлял он поисков, хотя едва ли что-то обретал в них. Так, не отыскав близнецов и себя самого не найдя, он, отбив себе ступни, бессмысленно плелся по песчаному берегу моря. А когда, в третий раз, оказался в начале, вновь взбушевал. Прекратил детей родных искать и кружить вокруг моря, понял, что время не стоит на месте, и теперь этому ходу времени воспротивился. На закате жизни вздумалось какому-нибудь ремеслу научиться. Нет, не ради хлеба для пропитания, а просто, вопреки скоротечности жизни. Ведь хлеб, известно, он и так с детства ногами ел, даже семью благодаря этому ловкачеству кормил, на базаре татарском недаром все его знали как трюкача ногастого. Но так было раньше, а теперь в ручном искусстве попробовать себя пожелал.

После длительных раздумий решил украшателем покойников стать, и с этой целью неподалеку от кладбища поселился, в ожи-

дании чьих-нибудь похорон, дабы сперва поупражняться и подготовиться к делу. Ждать недолго пришлось. Под вечер привезли на арбе труп какого-то бродяги, чтобы захоронить в общей могиле. Тут своенравец к могильщику с просьбой: «Прежде, чем земле предать, дай его мне ненадолго». — «А ты, часом, ничего дурного не замышляешь?» — «Ты что! Упаси Боже, посметь надругаться над покойником, я только слегка поддурмяню его и в лучшем виде возвращу обратно». — «Забирай, — говорит, — можешь себе оставить, мне в нем никакой надобности нету». Взялся упрямец за мертвеца и столько бальзама и белил и мазей восковых нанес на его лицо, что живому уподобил да еще омолодил лет на десять. Затем усадил его на ту же арбу, как следует, закрепил веревками и направился в город. А бродягу, хотя не было у него ни дома, ни родных, в городе все хорошо знали, так как при жизни этот пройдоха был до того надоедливым попрошайкой, что пока хотя бы огрызок какой не выклянчит, не отстанет. Так оба, пристегнутый к повозке мертвец и смутьян, объехали в своей телеге все улицы, заслужив не только поощрение, но и немало медяков, ибо многие, принимая попрошайку за живого и спеша подальше от его назойливости, бросали им мелочь.

Признал город высокое мастерство искусника, и вытянулась цепочка мертвецов к его дырявому убежищу. Заполнилось кладбище неотразимыми покойниками. Упрямец же набил руку в этом ремесле так, что всюю чудодействовал и то мужчин превращал в женщин, то, — наоборот. Родные умерших были довольны, ибо, по существу, какая разница, мужчина или женщина отдали Богу душу, если это так изящно выглядит, что не налюбоваться. День за днем проводил он в трудах, и весьма прославился. Но добра не нажил, потому что у должников денег не требовал, — за спасибо работал. Почему? Да, наверно, уважения к себе добивался. Однако даже стареющего никто любовью не жаловал. Чуть больше года прихорашивал покойников трупных дел мастер и неизвестно, каких бы достиг высот в этом искусстве, если бы в один прекрасный день не призадумался о собственной смерти. И как призадумался, так сразу пало ему в догадку, что в самую пору против смерти взъерепениться, причем, не мешкая.

Тут кстати пришла смерть градоначальника, окоченевшее, почтенное тело которого, разумеется, доставили ему. Но он не стал с ним возиться, закопал под своей кущей, переделся в его одежды,

лицо замаскировал и возлег в богатый саркофаг городского головы, мирно руки сложив на груди. Утром пришли родственники усопшего и перенесли его на кладбище. А там, проститься с уважаемым сановником, со всего города собралась уйма народу. Три часа беспрерывно разносился скорбный плач, даже в воздухе ощущалась трагедия. А старик-упрямец с тихим довольством на лице прислушивался к нескончаемым рыданиям и, умиленный, разок сам чуть было не всплакнул. Знал, что его собственная смерть никогда не вызвала бы столько любви и горя. Уж очень ему было приятно находиться в столь интимной и траурной среде. Все больше наслаждался он дрожащими слезными возгласами, одобрявшими достойный образ «его» жизни. Все больше проникался искренним всеобщим страданием, и все весомее казалась взятая на себя роль. Пышные похороны устроил себе своенравец, и мысль о бескорыстной любви людей к нему мало-помалу утвердилась в его сердце. И ничего, что оплакивали другого, плакали-то над ним!

Каждый бросил в могилу по горсти земли — даже взмахом лопатой не сделал могильщик, лишь подровнял со всех сторон холмик; потом, завладев полной корзиной еды, направил шаги к жилищу упрянца, трапезничать. А упрямец в этот момент, преисполненный счастья и вдохновленный знатными проводами, бездвижно лежал в земле и вострил уши, чрезвычайно довольный тем, что в этот раз никто не тащил его из могилы. Плавно вдыхая последние крупинцы воздуха, отсчитывая последние минуты жизни, ни о чем больше не думая, он как никогда раньше был близок к совершенному блаженству, впрочем...

Гроб был объемистый, и воздуха хватило бы еще на час другой, но и два, и три часа, и несколько дней прошло, и тогда погребенный «счастливец» сначала почувствовал тяжесть поставленного на могилу мраморного камня, потом — осени сырость, зимы — зимнюю стужу, весны — благоуханье цветов, а лета — знойное солнце... И не единожды. На пятом году ему надоело отмечать ногтем на гниющей крышке саркофага количество лет. Без всякого движения лежал он и недоумевал, за что покинул его Создатель и почто так упрямуется смерть?!

*Предисловие и перевод с грузинского
Николая ЛОМИДЗЕ*